

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА — ПАРИЖ

2•92

72

ПОСЛЕ РОССИИ

Стихи З.Н.Гиппиус из старых эмигрантских изданий и рассказ "До воскресенья"

"Никогда я не умела писать стихов. Это очень точно: не умела. Как не умею мостовую мостить. Если и писала, то всякий раз, по выражению Бунина, "с большими слезами, папаша". Уж когда было не отвертеться", — писала З.Н.Гиппиус В.Ф.Ходасевичу.

Это "неумение" многое объясняет в природе поэтического творчества Гиппиус. Стихов она всегда писала немного, еще меньше печатала, в редко выходившие сборники включала далеко не все, напечатанное ею в периодике, и на редкость спокойно относилась к своей поэтической славе.

Когда-то ее строчка "Мне нужно то, чего нет на свете" облетела читающую Россию и принесла Гиппиус славу поэта. А другая строчка — "Но люблю я себя, как Бога" — прибавила к этой славе элемент скандала. Скандал — излюбленный художественный прием Достоевского, любимого писателя Гиппиус, — сопровождал многие ее поэтические, прозаические и литературно-критические публикации, как и эксцентричность ее литературно-бытового поведения, ее любовь к мистификациям и провоцирующим шуткам. Это совсем не богемное легкомыслие и не только игра, столь ценимая Гиппиус за "бескорыстие" и "загадочность" (см. стихотворение "Игра"). Взрывную силу скандала она использовала сознательно и активно.

Жизнь для Гиппиус — это движение, творчество, направленное на достижение мыслимого совершенства во времени. Все неподвижное в жизни, остановившееся, окостеневшее и окаменевшее — все это для Гиппиус проявления небытия, провалы, черные дыры в живой ткани жизни, из которых смотрит пустыми глазницами смерть. Небытие неприметно, но оно вездесуще, оно пронизывает всю жизнь. Персонификацией небытия является — в стихах и рассказах Гиппиус является буквально — традиционный персонаж христианской демонологии — черт. Если собрать вместе стихи и рассказы Гиппиус, где действует эта хвостатая тварь с раздвоенным копытом, меняя обличья, получился бы целый томик "Дьяволиады".

Борьбу с небытием, "борьбу за живое с мертвецами" Гиппиус связывала с высвобождением из него бытия, живой жизни из жизни-неподвижности, из тех исторически отживших форм человеческих отношений — моральных, бытовых, половых, семейных, — которые обрекают человека на жизнь в серой паутине, на совместную смерть в жизни.

Эту смерть Гиппиус прежде всего видела в своей душе, в стихах безжалостно обнажая ее небытие — косность, мертвенность,

оцепенелость, равнодушие. И в стихах же явлен ее стальной дух, нечеловеческая воля, которой она взнуздывала свою душу, понуждая ее выбираться из очередной черной ямы, из стоячего болота, в вязкой тине которого так хорошо и сладко спится, из мудрости вольного рабства — смириться, покориться, терпеть.

Среди пестрого цветения поэзии начала века стихи Гиппиус, выросшие из совершенно своеобразной душевной ткани, занимают особое место, что так или иначе ощущалось современниками. Блок говорил о “единственности Зинаиды Гиппиус”. Бальмонт, вообще не склонный ценить поэзию современников, сказал о стихах Гиппиус, сравнив ее поэзию с магистральным сонетом в венке сонетов: “Она дает основные формулы настроений, которые разрабатываем все мы”.

Хорошо известно, как Гиппиус отнеслась к октябрьскому перевороту, к новой власти в России. Мережковские почти три года прожили в советской России, прежде чем в начале 1920 года нелегально перешли русско-польскую границу, и у Гиппиус был богатый личный опыт жизни в советских условиях. Но природа большевизма была ей ясна задолго до 1917 года. Это было то самое ненавистное Гиппиус смертоносное небытие, мертвечина, вылезшая из черных провалов жизни, цепенящая и опутывающая живую жизнь.

Предлагаемая ниже небольшая подборка дает представление о стихах Гиппиус, которые она писала в эмиграции. Это та же Гиппиус, что и в России, — узнаваемые ритмы и интонации, та же сдержанная сила, неукротимый дух, тот же горький неженский скептицизм. Но в чем-то это уже и другая Гиппиус. Как Лотова жена, обернувшаяся на горящий Содом, Гиппиус не может оторвать взгляда от России — соблазненной и падшей, опутанной серой паутиной небытия. Как писала она в одном из прежних стихотворений: “Единый миг застыл — и длится, // Как вечное раскаянье... // Нельзя ни плакать, ни молиться... // Отчаянье! Отчаянье!”

Живая боль разрыва окрашивает мысли о вечности, о смерти, о Боге. Понятия вины и греха становятся ключевыми в осознании того, что произошло. В стихах нет прежнего уверенного знания, нет и гневных инвектив против большевиков. Вопросы, вопросы, вопросы, на которые нет ответа. Настойчивость вопросительных интонаций происходит не от растерянности, которую при любых обстоятельствах трудно предположить в Гиппиус, а от выстраданной глубины этих тревожных вопросов. Ответы на них только у Бога, а прямой и честный человеческий ответ может быть один — не знаю. Те же ответы, которые может дать Гиппиус, несут на себе печать трагической уверенности, превращающей один из таких ответов — стихотворение “Грех” — в грозное пророчество.

Стихи Гиппиус всегда писала от мужского лица. Это непривычно, хочется найти этому какое-то объяснение. После смерти

Мережковского в 1941 году и до конца своих дней Гиппиус работала над книгой воспоминаний о Мережковском и над поэмой "Последний круг (и Новый Дант в аду)". То и другое осталось незаконченным. Сюжет поэмы такой: некая душа, естественно безымянная, бродит по аду в поисках души своего прежде умершего любимого мужа, чтобы соединиться с ней, и после разнообразных событий находит ее в раю — их встречей заканчивается поэма. В аду эта душа видит итальянского летчика, потомка Алигьери, который решил повторить его путь в царство мертвых. Проводя Нового Данта по кругам ада, безымянная душа рассказывает ему о своей земной жизни, о муже, о друзьях и, в частности, о том, что на земле она была женщиной и поэтом, но когда садилась писать, чувствовала себя мужчиной.

Прозу, в отличие от стихов, Гиппиус писать "умела". В России она писала романы, повести, выпустила шесть сборников рассказов. Но за 25 лет жизни в эмиграции она опубликовала всего десятка три рассказов и две повести: "Чужая любовь" и "Мемуары Мартынова". Это уже не та продуктивность, что в России. И дело здесь не в естественной убыли жизненной силы, которой, судя по ее стихам, не было, и не в эмигрантских издательских возможностях и сложностях, которые Мережковские ощущали на себе в полной мере. Видимо, Гиппиус была из тех писателей, которые не приживаются на чужой почве.

Главная тема ее эмигрантских рассказов — русские без России. Она пишет о соотечественниках, как и она, оставшихся без родины, но сохранивших ее — разной и по-разному — в сердце и в памяти. Люди церкви — монахи, священники — и прежде были частыми героями рассказов Гиппиус, и она относилась к ним весьма критически, перенося на них свою критику церкви за поселившийся в ней дух тяжести и неподвижности. В эмигрантских рассказах те же монахи, те же священники, но теперь, как в рассказе "До воскресенья", Гиппиус склоняется в низком поклоне перед их животворящей верой, перед величием их страдания и крепости.

Под стихами, написанными в эмиграции, Гиппиус редко представляла дату. В тех случаях, когда отсутствует авторская датировка, а первая публикация их не обнаружена, стихи оставлены без даты. Даты первой публикации даны в скобках. Стихотворение "1917" публикуется по сборнику Гиппиус, вышедшему под псевдонимом: Антон Кириша, "Походные песни", Варшава, б.г. Стихотворение "Память" — по публикации в газете "Возрождение", Париж, 1928, 9 февраля. Остальные стихи печатаются по сборнику Гиппиус "Сияния", Париж, 1938. Рассказ "До воскресенья" печатается по публикации в газете "Последние новости", Париж, 1926, 2 мая.

Н.И.ОСЬМАКОВА

1917

Глядим, глядим все в ту же сторону
На мшистый дол, на топкий лес,
Вослед прокаркавшему ворону,
На край бледнеющих небес.

Давно ли ты, громада косная,
В освобождающей войне,
О Русь, как туча громоносная,
Восстала в вихре и в огне.

И вот опять, опять закована,
И безглагольна, и пуста...
Какой ты чарой зачарована?
Каким проклятьем проклята?

Но, во грехе тобой зачатые,
Хотим с тобою умирать.
Мы дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.

(1920)

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет, —
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде —
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

(1924)

ПАМЯТЬ

Недолгий след оставлю я
В капризной памяти людской.
Но память — призрак бытия —
Ненужный, лживый и пустой.

На что мне он? Живу в себе,
А если нет, не все ль равно,
Что кто-то помнит о тебе
Иль всеми ты забыт давно.

Пройдут единой чередой
И долгий век, и краткий день,
Нет жизни в памяти чужой.
И память как забвенье — тень.

Но на земле, пока моя
Еще живет и дышит плоть,
Лишь об одном забочусь я,
Чтоб не забыл меня Господь.

(1925)

СТЕНА

В полусверкании зеленом,
Как в полужизни-полусне,
Иду по круто-узким склонам,
По бело-блещущей стене.

И тело легкое послушно,
Хранимо пристальной луной.
И верен шаг полувоздушный
Над осиянной пустотой.

Земля, твои оковы сняты,
Твои законы сметены.
Как немо, вольно и крылато
В высоком царствии луны!

И вьется в полусмертной тени
Мой острый путь — тропа любви...
О мать-земля! моих видений
Далеким зовом — не прерви!

Ужель ты хочешь, чтоб опять я
Рабом очнулся и в провал —
В твои ревнивые объятия —
Тяжелокаменно упал?

(1925)

* * *

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные.
Дай мне еще увидеть
Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть
Дал Ты, Господь, Мессию,
Дай мне, дай увидеть
Родную мою Россию.

ИГРА

Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит.
Лишь одного мне жаль: игры...
Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда — ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство...
И всякий ведал — за рулем —
Игру безумную с пространством.

Играет с рифмами поэт,
И пена — по краям бокала...
А здесь, на спуске, разве след —
След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

(1930)

КАК ОН

Георгию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать, —

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

ЗА ЧТО?

Качаются на луне
Пальмовые перья.
Жить хорошо ли мне,
Как живу теперь я?

Ниткой золотой светляки
Пролетают, мигая.
Как чаша, полна тоски
Душа — до самого края.

Морские дали — поля
Бледно-серебряных лилий...
Родная моя земля,
За что тебя погубили?

(1936)

ГРЕХ

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнанья.
Но злое дело — воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя — себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает,
Хоть мы простим, и Бог простит.

(1938)

ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ

...На “рю Дарю”^{*} слишком хорошо поют. Слишком! Ах, знаю, чего вы от меня ждете: начну сейчас вспоминать деревенскую церквушку на родине, да как я туда к Светлой заутрени ходил, да как талой землей пахло, а народ, в это время, со свечечками... Но у меня никаких подобных воспоминаний нет. В деревне я ранней весной не бывал, в церковь меня в детстве не водили, только в гимназии, в гимназическую; а там какая уж трогательность! Рос в городской, интеллигентно-обывательской семье и сам вышел таким же интеллигентно-обывателем: всем интересовался — понемногу; в университете преимущественно политикой (в такой кружок попал), но тоже не до самозабвенья. Церковью и религиозными вопросами не интересовался никогда. На этот счет уж было установленное мнение, его мы и держались.

Кончил университет, надо было в военную школу идти, но тут как раз случилась революция, я и остался. И почему-то мы, то есть я и некоторые из нашего кружка, очутились в левых эсерах. Главный был Гросман, а другие, особенно я, так, сбоку припека. После октября завертело, и вскоре я всех из виду потерял. Долго рассказывать, ну, словом, через год или меньше, — я и сам не знал, кто я такой, не до левого уж эсерства, а просто чувствовал себя зайцем, которого травят и все равно затравят. Два раза ловили, сидел подолгу и как-то, случайностью чистой, оказывался на улице. Но теперь знал: попаду в третий раз — кончено. А не попасть было нельзя: такое время наступило, что брать стали решительно всех и отовсюду, из домов, с улиц, с базара, из-под моста, из театра, — значит, не скроешься. Я уж почти и не скрывался. Не жил, правда, нигде, — то на барке заночую, а то попросился раз к хозяйке знакомой, девицы у нее разбежались, — а ее еще не трогали. Во второй раз, впрочем, непустила.

И завяз я в тоске. Такая тоска, и не она во мне, а именно я в ней сидел. Смотрю сквозь нее на все, как сквозь желатин, — и все мне омерзительно, и панель, и дома, и большевики... Хожу тоже как в густом желатине: ноги едва двигаются. Раз подумалось: это предсмертная тоска; верно, такая она и бывает.

Наконец взяли.

* “Рю Дарю” — на улице Дарю в Париже находится русский православный Александро-Невский собор.

Я предполагал, что сейчас и конец. Однако, держат. Допросов не было, время уж очень горячее, некогда. Такое горячее, что в камеру к нам все подваливали, да подваливали, без всякой меры. Я привык за прежние разы, — и ко всему уже привык: меня никто не мог бы от прочих оборванцев отличить, а главное, я сам себя как-то не отличал; но тут становилось тяжело. Они и сами, верно, увидали, что некуда: начались выводы. Я опять подумал, что в первую партию угожу, — давно сидел, — да они, черт их знает, по какому порядку выбирали, заметить было нельзя.

Сначала разгружали тихо, только чтоб с новыми не прибавлялось, но зато после как пошло, как пошло, — беда. Камера, конечно, стала бешеная, не выдерживали. Утром еще туда-сюда, а ближе к ночи — вой, плач, хохот. Были и совсем помешанные. Это всегда так, это и раньше я видел, но тут уж дошло до чрезвычайности.

В крайнем углу было нас трое тихих. Один большевик, столяр, толстоносый: все шепотом, страшно, ругался и повторял: “Это не большевики, я сам большевик, это живорезы! Сказал — и еще скажу!” Но тут же плакал. Другой — мальчик, паршивенький, дикий. Молчал, как немой, озирался, и вдруг задрожит — целый час продрожит.

Из новых сначала ничего, а осмотрятся — и они взбесятся.

Вдруг пошел слух один: будто из выводных, кое-кого, по строгому отбору, ведут не прямо, а сначала “в кабинет”. А там уж, будто, судьба твоя в твоих руках... Что ж вы думаете, повеселела камера. Всякий стал надеяться, без малейших даже оснований, — вдруг попадет в отбор? А там уж...

Основания были — у меня, потому что отбор-то, по дополнительному слуху, делал товарищ Гросман, и я догадался: мой Гросман. Давно потерял его из виду, а говорили, как будто: пошел в гору. Вот она где, гора: в здешнем кабинете. Но мне было все равно. Тоска все завалила. Скорей бы уж; вызовет Гросман — пусть. Не вызовет — тоже пусть. Скорей бы только.

Но все — нет. Очищали же сильно: десять новых, а берут по двадцати и больше. Раз навели новых порядочно, разношерстные какие-то, всякие. Сунули одного в наш угол, сверх комплекта. Смотрю — старик. Полненький, лысина, а сзади седоватые волосы длинные. Поп! Бывали у нас и попы, да не помнилось особенно. Этот, как новенький, сейчас разговаривать. Глазами моргает, но ничего, не беспокоится. Мне стало досадно, что он, видимо, не понимает, куда попал. Рассказы-

ваю ему, в трех словах: на допрос вряд ли попадете, и так далее. Он ничего. Тулупчишка у него был, мешок небольшой, — с краю стал пристраиваться. Я, говорит, ненадолго, так много места не надо. — Почему уверены? — спрашиваю. — Да из ваших же слов заключаю. А мое дело прямое.

За что кто взят — у нас не говорили, уж по той причине, что никто этого не знал. Попик же мой словоохотливый мне объяснять, — камера гамела, так он мне почти в ухо, — что взяли его, будто, за рыжую кобылу. Рассказывал пространно, я, от нечего делать, прислушался и стал понимать.

Из села привезли, откуда-то из-под Вышнего Волочка. Там он попил двадцать лет, со всеми жил хорошо, и, будто, привыкли к нему. Потом началась эта, как он выразился, “будоражь”, и свои, на местах, еще ничего, а наезды хуже, наезжать стали беспрестанно. Как третьего дня служил — налетела их туча, пьяные, верхами, спешили и лезут в шапках в церковь. Его схватили, — тут он что-то долго рассказывал, поиздевались, должно быть, изрядно, — вывели на паперть.

— Гляжу я, середь них наш же Федька Босмаников, солдатом уходил, ничего был парень, теперь шапка на затылке, комиссар, и орет: докажи, что не контр-революционер, богам кланялся, поклонись моей рыжей кобыле! Ну и все за ним невозбранно, — поклонись да поклонись, а нет — у нас мандат, нам тоже строго, хоть и наша власть.

— Ну и что же?

— А что же? Мандат так мандат. Они не понимают.

— Да кобыле-то вы поклонились? Ведь они только всего и требовали?

— Только всего. А что вы думаете, господин, или как вас величать, товарищ, — достойно мне, алтарю предстоящему, рыжей кобыле кланяться?

Я ничего не ответил. Дико мне это было. Столяр-большевик, рядом скорчившись, захохотал шепотом: “А стенке предстояще хочешь? Вмескобылы на живопырню. Большевики тут, что ли? Живорезы!”

Попик очень серьезно на него поглядел, очень серьезно, и как-то, совсем просто, сказал:

— Мне что хотеть; что Господь хочет. Не хочет Господь, чтоб я рыжей кобыле кланялся, так я и не кланяюсь.

Поп этот — отцом Вириноем (Ириноем?) он назвался — сильно стал меня изумлять. Главное, совершенным своим уверенным спокойствием, веселостью даже. Я все-таки подумал:

не понимает. Ведь чепуха же, пьяные, рыжая кобыла... и сюда. Эдакая чепуха!

Но он отлично понимал. Он каждый день — я видел — готовился. Придут в камеру — он ничего. Уйдут (еще не сегодня, значит!) — он опять ничего. Я все ждал: посидит, осмотрится, схватится?.. Нисколько. В грязи нашей, в духоте, в вони, в гаме, в вое — сидит себе на полу, на мешочке (тулуп у него не то свистнули, не то сам отдал кому-то), шепчет — молитвы, очевидно, читает, — а лицо приятное, будто так и надо.

Теперь позвольте досказать кратко, впрочем и время было краткое: может, неделя, а может, дней десять. Заинтересовало меня чрезвычайно, как он не поберег себя из-за такого вздора, да мало себя — старуху-попадью бросил, прихожан своих покинул, — а хорошие, говорит, были из них, жалко! — и теперь так уверенно готовится, не боится.

Выспрашивал; но он немногословен был насчет этого, точно не понимал, чего тут можно не понимать. “Да меня же, говорит, Сын человеческий постыдился бы; какая же мне была бы польза?” — “Это вы про Христа, что ли, отец Вириней?” — “А про кого же? Никакому человеку нет пользы сберегать себя, хуже потеряет”.

Через краткие слова, а больше через то, что я воочию видел, какая ему польза, — вошло все это в меня клином. Так занялся, что и тоска — ничего, и камера — ничего: все слышу, вижу, понимаю, как оно ужасно, а ужаса не чувствую. Даже сроднились они у меня, и Вириней, и гам, и ожидание, — не сегодня ли? Столяр, будто, не слушал нас, но должно быть слушал: затих ругаться. И про других я стал замечать, которые дольше сидели: нет-нет — тянутся в наш угол.

Под конец, как вспоминаю, я совсем потерял время: будто это навсегда, и камера, и выводы, и Вириней, и я. Между тем не удивился, когда пришли, — спешкой, как обычно, — и в счет попал Вириней. Я только вскочил за ним, и когда солдат оттолкнул меня прикладом от него и от столяра (столяр тоже попал), я остановился в каком-то недоумении. Виринеева лысая голова была еще близко, обернулся ко мне, ручкой помаhal: “Прощай, миленький! Я ведь ненадолго! Прощай, до воскресенья!” Кричу ему — что? когда? А он опять, уж из толпы, сквозь стук и вой: “До воскресенья! до воскресенья только!”

Мальчишка дикий так тут завизжал пронзительно, по-бабьи, что все заглушил, да визжал, без перерыва, минут

десять. Уж давно ушли, а он все визжит. Я уши сначала заткнул, а потом привык, — хоть бы и навсегда это визжанье около меня.

Хорошенько не помню, а, кажется, на другой же день попал в партию и я.

Подробно не рассказываю, не стоит; действительно, по дороге ввели меня к Гросману; только вышло это молниеносно; он на меня взглянул, я на него, и сказал ему всего два слова — он тотчас дверь открыл: “Присоединить!” и меня присоединили.

Думал, поведут нас куда-нибудь в подвал. Нет, наружу вывели, на грузовик, и повезли. Ночь была теплая, весенняя, воздух меня почти обеспамятил. Везли долго, я мало что понимал, от воздуха. Кто-то сказал рядом: “Теперь до воскресенья последние”... И обрадовался, что “до воскресенья”...

Помню едва-едва, что ужасная была спешка; сырая земля; густые кусты. Потом мелькнули огоньки; и все.

Вам неизвестно, но поверить мне можете: существовали тогда такие люди — разные, между ними девушки интеллигентные, — которые брали на себя опасное дело, прямо смертельное: где расстрел (тогда часто это под городом, в укромных местах) — они, при малейшей возможности, старались пробраться туда — сейчас после. Потому что в горячие времена, при спешке, ночью, — постоянно оставались неострелянные. Забрасают пока валежником, или чем, — и назад. Чтобы как следует — приезжали потом.

Было излюбленное место — мое — там кустов много. Туда и ходили эти, у кого я, после, раненый лежал, в домишке ихнем, в поселке, недалеко. Выжил, без доктора, и ничего, по веснам только грудь болит.

Их — не семья, разные люди; профессор был, две курсистки, одна барышня с архитектурных курсов, дьякон кладбищенский... Но поверьте, никогда я таких людей ни раньше, ни после не видал. В ихней лачужке я окончательно и привел в порядок все, что с собой из камеры унес и через кусты протащил. Без них... да что говорить, что было бы без них! А они еще помогли — научили.

Летом, едва поправили, ушел на Финляндию. Нельзя было, ради них. И так двое, еще при мне, пропало.

Вот я и говорю: что клином вошло, того выбить нельзя. И уж оттуда, где мой Вириной, я не уйду до самой... до самого воскресенья, как он говорил. То есть, из церкви православной. Я и здесь-то осел, хоть трудно было устроиться, потому что

здесь храм. Но скажу вам по совести: в здешнем храме не все мое сердце. Я начал с того, что слишком хорошо поют на “рю Дарю”. И повторяю: слишком. Для меня, по крайней мере. Как вам выразить? Сидел Вириней на полу, на асфальте черном, камера гамела, выла, редела, выводов ждала, безумствовала, — и осталось это во мне цельно; но не ужасом осталось, а так — будто прислушаться... и где-то под визгом, под ревом, услышишь ангельское пение...

Здесь же оно, почти что ангельское, прямо дается, не нужно и прислушиваться: всякий сразу тронут. Камеры никакой будто на свете не бывало. А ведь она есть. И все мне чудится, что сторонкой ее не обойти, не сделать, как ни старайся, чтоб ангелы с неба прямым путем нисходили...

Может, искушение, но вам признаюсь: когда уж очень хорошо поют, душа в горния унесется, — вдруг я, сквозь ангельское-то пение, начинаю тот вой и рев слышать. И ужасаюсь...

Вы улыбнетесь, а я раз даже сон видел: стою, будто, в храме, благолепие; поют — ну, концертно. А рядом Вириней, как был, в дырявом ватном подряснике, и лысой головой качает, шепчет мне в ухо: чего ты, миленький, здесь, ведь некогда! А слушать — лучше услышишь, потерпи до воскресенья...

(1926)